

ЦЕНА МОЛЧАНИЯ

Матильда Вареница

Цена молчания

«Автор»

2026

Вареница М. В.

Цена молчания / М. В. Вареница — «Автор», 2026

Мир Петра - это порядок, белый шум и предсказуемость. Лучший чертёжник в отделе, он теряет работу, потому что не успевает за бешеным ритмом коллег. В тот же день он находит старые бумаги, где мать сорок лет скрывала диагноз: аутизм. В СССР таких детей стирали из жизни - интернаты, «необучаемые», позор. Мать выбрала любовь, но выбрала и молчание. Теперь Петя узнаёт, что всю свою боль он носил не потому, что был «неправильным», а потому что мир не знал его языка. С помощью психотерапии он учится понимать себя и объяснять другим. Ему предстоит заново выстроить всё: отношения, работу, место в обществе. И однажды он поймёт: вопрос не в том, сможет ли он стать «нормальным», а в том, кто на самом деле болен - человек с другим устройством сознания или общество, требующее от всех одного ритма. Это роман о тишине, которая не пуста, и о человеке, который решает жить не вопреки, а по-своему.

© Вареница М. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
ПЕТЯ	7
Глава 2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Матильда Вареница

Цена молчания

Глава 1

ПЕТЯ

Сначала он видит асфальт. Всегда сначала асфальт. Трещины, стыки плитки, пятна от масла. Он знает, сколько шагов от дома до угла - сто сорок два. Проверял. Не считает сейчас, просто ноги помнят. Идут.

Наушники. В ушах - белый шум. Как море, только без воды. Ровный, тягучий, он заполняет всё, оставляя только дорогу и шаги. Хорошо.

Телефон сам оказывается в руке. Пальцы водят по экрану - карта, маршрут. Всё чисто. Можно идти. Он смотрит ещё раз. На всякий случай. Ничего не изменилось. Но он проверяет снова. Почему-то надо. Два раза. Три. Может, если не проверить, мир сдвинется, и он окажется не там, где должен.

Перекрёсток. Зелёный. Надо идти. Но он видит мусоровоз. Слышит его - ещё до того, как понимает, что слышит. Гул, лязг, рёв. Машина вот-вот повернёт. Он знает, что будет: сначала шум, потом суeta, потом кто-то закричит - или засмеётся, неважно. Станет громко. Слишком.

Ждёт. Стоит. Просто стоит на краю тротуара. Свет горит зелёным. Все переходят. А он стоит. Потому что нельзя. Не сейчас.

Машина проходит. Звук уходит в сторону, тает. Пётр сглатывает. Идёт. По зебре, ровно по центру. Не быстрее, не медленнее.

На другой стороне - останавливается. Пальцы находят наушники, снимают. Движение отточенное, как у робота, но пальцы чуть дрожат. Чехол - открыть, уложить, закрыть. Потом в карман. Потом молния. Пальцы бегут по зубцам до конца. Щелчок. Всё.

Каждый день - так. Не потому что надо. Просто иначе нельзя. Мир тогда становится слишком громким, и он не знает, что делать.

Воздух сырой, пахнет бензином. Пётр смотрит вперёд. Офис. Серый, как всё. Там - стол, линейка, чертежи. Там всё на местах. Он знает.

Делает шаг. Потом ещё. Ритм возвращается. Дышать легче...

Дверь. Стеклопанная, тяжёлая. Он толкает её - плечом, привычно. Внутри - запах чистящего средства и тишина. Пока тишина.

Охранник поднимает голову. Кивает. Говорит что-то. Пётр кивает в ответ - не смотрит, просто движение, которое все ждут. Идёт дальше.

Лестница. Ступеньки. Он не идёт - взбегает. Но не просто бежит: пропускает одну ступеньку, потом ещё одну. Ритм: шаг, пустота, шаг, пустота. Только так. Если сделать иначе, сбиться - он почувствует, как воздух становится плотнее. Поэтому - шаг, пустота. До самого верха.

Опенспейс. Большой, открытый, со всех сторон звуки - пока ещё тихие, далёкие. Он идёт к своему столу, не глядя по сторонам. Только прямо. Никаких лиц, никаких приветствий. Стол - его тихое пристанище.

Ручка слева. Линейка справа. Блокнот ровно по краю. Всё на своих местах. Но он всё равно смотрит - сканирует взглядом. Ручка чуть сдвинулась? Нет, кажется. Он поправляет её - на миллиметр, не больше. Теперь правильно.

Садится. Включает компьютер. Открывает чертёж. Линии на экране - ровные, понятные. Здесь всё подчиняется правилам.

И вдруг - касание. Плечо. Чужое. Он сжимается - вся спина, плечи, даже пальцы. Резко, как от удара. Поворачивает голову. Она. Улыбается. Что-то говорит. Слова - быстрые, как вода, просачиваются сквозь его защиту.

- Привет, Петя... угрюмый... без кофе... Давай сделаю...

Она смеётся. Смех - звонкий, режущий. Пётр молчит. Он видит её рот, открывающийся и закрывающийся. Надо ответить. Надо что-то сказать.

Она уже разворачивается - лёгкая, быстрая. Бежит куда-то. За угол. Пётр открывает рот:

- Но я не пью...

Голос - сначала громкий, потом гаснет. Тонет.

- ...кофе...

Она не слышит. Уже нет. Он смотрит в пустой угол.

- ...воды бы лучше...

Тихо. Только для себя.

Офис оживает. С каждым мгновением звуков становится больше. Смех - с другой стороны. Кто-то кричит в трубку. Клавиатуры - быстрые, как пулемётные очереди. Принтер - жужжит, стрекочет, выплёвывает бумагу. Шум нарастает, наваливается. Пётр чувствует, как виски начинает стягивать. Пальцы подрагивают. Дыхание сбивается.

Рука тянется к карману сама. Находит наушники. Вытаскивает - дрожащими пальцами, почти роняет. Надевает. Включает.

Белый шум.

Всё стихает. Сразу. Гул становится далёким, ровным, текучим. Пётр выдыхает - шумно, с присвистом. Плечи опускаются. Он закрывает глаза на секунду. Открывает.

Руки - на клавиатуру. Пальцы находят нужные буквы. Чертёж на экране ждёт его. Он начинает печатать. Линия за линией. Снова мир становится понятным.

Два часа. Сто двадцать минут. Семь тысяч двести секунд. Пётр не считает - просто чувствует, как время тянется, как песок, который сыпется сквозь пальцы.

Он смотрит на чертёж. Линии, цифры, допуски. Всё на своих местах. Пальцы печатают - быстро, точно, почти без участия сознания. Он знает эту деталь наизусть, вносит правки механически, почти во сне. Чёрный текст на белом фоне, курсор мигает в такт сердцу. Мигает. Мигает. Мигает.

Где-то слева засмеялись. Кто-то - громко, взхлёб. Пётр дёргается, плечи взлетают вверх. Задерживает дыхание. Ждёт, когда смех стихнет. Не стихает - переходит в разговор, голоса накладываются друг на друга, как слои, и он не может разобрать слов, только звуки: баритон, сопрано, хриплый смех. Всё смешивается.

Он смотрит на часы. Маленькие, на экране. Прошло двенадцать минут. Двенадцать. Всего двенадцать. Он разжимает пальцы, снова кладёт их на клавиатуру. Печатает. Строчка за строчкой. Цифры - они не смеются. Они не спрашивают, почему он угрюмый. Они просто есть.

Офис наполняется. Входят новые люди, шаги, голоса, запах кофе из кухни. Кто-то чихает - резко, неожиданно. Пётр вздрагивает. Опять. Он ненавидит, когда вздрагивает - это видно, плечи дёргаются, голова дёргается, и если кто-то смотрит, он видит. Пётр смотрит на наушники. Лежат в чехле, на краю стола, как обещание. Но нельзя. Не сейчас. Он должен слышать. Мало ли, вдруг кто-то подойдёт. Надо отвечать. Но он же отвечает. Он всё видит. Просто не может ответить. Это другое.

Проходит ещё сорок минут. Пётр заканчивает один фрагмент, открывает следующий. Новая деталь, новый слой. Всё сложнее, но понятнее, чем люди. Люди - они непредсказуемые. Они подходят сзади, трогают плечо, говорят не то, смеются непонятно чему. А линии - они живут по правилам. Они не пересекаются там, где не должны. Они не меняются внезапно. Они ждут, пока их поправят.

Он слышит, как принтер застревает бумагой - знакомый звук, короткий, дребезжащий. Кто-то идёт разбираться. Голоса, инструкции, шум. Пётр сжимает челюсть так, что скулы болят. Пальцы находят клавиатуру - он печатает быстрее, чтобы не слышать. Но шум всё равно здесь. Он внутри.

Девушка из соседнего отдела проходит мимо, цокая каблуками по ковролину. Громко. Ритмично. Цок-цок-цок. Пётр считает шаги: шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Потом она сворачивает в коридор, и звук затихает. Он выдыхает. Шестьдесят две минуты.

Он поднимает глаза, смотрит в окно. Там серо. Всё серо. Облака, асфальт, дома. Он смотрит на краюху окна, где капли от вчерашнего дождя оставили полосы. Пять полос. Нет, шесть. Он считает. Шесть. Всё на месте.

Кто-то звонит - издалека, из другого конца опенспейса. Резкий звонок, как удар. Пётр зажимается на секунду. Снова открывает глаза. Смотрит на чертёж. Деталь уже готова, но он перепроверяет. Ещё раз. Допуски, размеры, сопряжения. Всё правильно. И всё равно он проверяет. Три раза. На всякий случай.

Девяносто четыре минуты. Кто-то подходит к столу коллеги рядом - обсуждают вчерашний матч, смеются, машут руками. Пётр видит это краем глаза. Не смотрит прямо - нельзя, тогда придётся отвечать на вопросы, если заметят. Он смотрит в монитор, но всё равно видит. Слышит. Голоса, смех, движение - они текут мимо него, как вода, а он стоит на берегу, и вода поднимается всё выше.

Сто пять минут. Пот стекает по виску. Он вытирает его ладонью, быстро, незаметно. Пальцы дрожат. Он снова смотрит на наушники. В чехле. На краю стола. Рука тянется к ним, но он останавливает её. Нельзя. Сейчас. Ещё немного.

И вдруг - она. Снова. С кружкой. Бежит, улыбается, щебечет. Два часа прошло. Она возвращается.

- Ой, прости, совсем заработалась...

Пётр не слышит остального. Он смотрит на её рот, который двигается, на руки, которые ставят кружку. Голос - он где-то далеко. В груди - напряжение. Он сглатывает. Молчит. Только вздыхает - громко, сквозь зубы. И смотрит в сторону. Не на неё.

- Ну ты если что, я тут, за соседним столом...

Она уходит. Топ-топ-топ. Пётр смотрит ей в спину. На лице - пустота. Ничего. Только вопрос, который застрял в горле. Он шепчет его почти беззвучно, одними губами, в пустоту, которая осталась после неё:

- А что не так-то?

Никто не отвечает. Он поворачивается к экрану. Пальцы находят клавиши. Начинает печатать. Снова. Строчка за строчкой. Но внутри - гул. Два часа - это долго. Два часа без тишины. Он почти не помнит, как выглядел чертёж в начале. Только чувствует, как гудит голова, как ноют глаза, как пальцы сами нажимают клавиши - механически, как заводной.

Он слышит начальника сквозь шум. Голос пробивается - как игла сквозь ткань, как свет в трещине. Громкий, привыкший к тому, что его слушают. Пётр узнаёт его сразу - интонацию, ритм, напряжение в конце фразы, которое не сулит ничего хорошего.

Пальцы замирают над клавиатурой. Он смотрит на экран, но уже не видит чертёж. Только слышит - голос, который зовёт его по полному имени. Пётр. Не Петя. Когда так - значит, серьёзно. Значит, сейчас скажут что-то важное. Он не знает, что именно, но чувствует внутри - там, где дыхание, - как что-то сжимается.

Руки отрываются от клавиатуры. Сначала одна, потом другая. Он кладёт их на подлокотники кресла - ровно, как в инструкции. Отодвигает кресло от стола - колёсики шуршат по ковролину, коротко, сухо. Встаёт. Не торопясь. Медленно. Размеренно. Шаг за шагом. Если ускориться - споткнётся. Упадёт. Все увидят. Он идёт к кабинету, считая про себя: раз, два, три... до двери - девять шагов. Всегда девять.

Открывает дверь. Входит.

Кабинет. Много всего. Слишком много. На стенах - плакаты с нормативами, сертификаты в рамках, календарь с цифрами, обведёнными красным. В углу - стойка с папками, аккуратная

стопка, но она высокая, почти до потолка. Пётр смотрит на неё и чувствует, как давит в груди. Она может рухнуть. В любой момент. Он отводит взгляд.

Стол начальника -массивный, чёрный, как гранит. Два монитора, стопка распечаток, чашка с остывшим кофе -на поверхности плёнка, он видит её, когда проходит мимо. Ручка с логотипом компании лежит на стопке бумаг. Рядом -фотография в рамке. Начальник с семьёй на даче: улыбаются, все, будто доказывают, что умеют быть не только строгими. Пётр смотрит на фотографию и не понимает. Зачем это здесь? Зачем показывать, что у тебя есть жизнь за дверью? Он не спрашивает. Он садится.

Стул у окна. Жёсткий, неудобный. Пётр садится на самый край -так, чтобы занимать как можно меньше места. Руки между коленями, пальцы сплетены. Спина прямая, но он чувствует, как она зажата, как напряжены плечи. Он сидит на краю -может встать в любой момент. Не для того, чтобы уйти. Просто чтобы быть готовым.

За окном -гул города. Ровный, непрерывный, как дыхание. Он не резкий, но он всегда здесь, под всем остальным. Кондиционер гудит тихо, на одной ноте -назойливо, монотонно. И через дверь -шум опенспейса: чей-то смех, телефонный звонок, скрип стула. Всё смешивается в один общий гул. Пётр смотрит в пол. На стык линолеума и плинтуса. Там щель. Маленькая. Он смотрит на неё, чтобы не смотреть на начальника.

Начальник сидит напротив. Седой, усталый. Глаза -добрые, но в них что-то тяжёлое. Он сжимает бумагу -служебную записку. Держит её перед собой, как документ, который нельзя игнорировать. Он чуть наклоняется вперёд, и Пётр видит его руки -крупные, с венами, он не хочет этого разговора. Это видно. Пётр знает этот взгляд. Когда тебе хотят сказать что-то плохое, но пытаются сделать это мягко. Это всегда мягко. А потом больно.

-Петя, я позвал тебя не потому, что ты плохо работаешь. Ты делаешь чертежи лучше всех. К ним не бывает замечаний. Это правда.

Пётр кивает. Не поднимает глаз. Пальцы сжаты сильнее. Он знает, что дальше будет что-то другое. Сначала хорошее, потом... Он ждёт.

-Но сейчас проект стоит. Не из-за твоих ошибок. Команда не может с тобой синхронизироваться. Вчера нужно было за пятнадцать минут согласовать узел. Тебя спрашивали в чате, потом подходили лично. Ты не ответил. Не потому что не хотел, я понимаю. А потому что для тебя такой формат -как пытаться дышать под водой.

Пальцы белеют. Сжаты до боли. До хруста в костяшках. Он слышит, как начальник говорит, и каждое слово -как удар. Не злой, нет. Просто точный. Он говорит правду. И от этого ещё больнее. Пётр сглатывает. Смотрит на щель в полу. Считает стыки линолеума. Раз, два, три. Ничего не отвечает. Он просто ждёт.

Он уже знает. Дальше будет ещё.

Он не понимает. Не сразу. Слова доходят медленно, как сквозь вату, как через воду, в которой он пытается дышать.

Пётр поднимает голову. Смотрит на начальника. Тот сидит напротив, сжав бумагу в руках, и глаза у него усталые, но твёрдые. Говорит что-то о том, что проект стоит, что команда не может, что он искал варианты. Пётр слышит слова, но они не складываются в смысл. Они просто звучат. Гул. Ещё один слой шума.

Он открывает рот. Сначала -ничего. Потом выталкивает, через силу:

-Я не понял, что это срочно. Там было три сообщения подряд. Потом кто-то подошёл и сразу начал говорить. Я... я не успеваю.

Голос ломается в конце. Пётр сглатывает, пытается удержать его ровным, но не получается. Он смотрит на начальника -и видит, как тот кивает, будто подтверждая что-то про себя, что-то, что уже знал, что уже решил.

-Вот именно. И проблема не в тебе, Петя. Проблема в том, что у нас сейчас такой ритм: короткие стыки, быстрые решения, постоянная подстройка. А тебе нужно время. Чёткие формулировки. Предсказуемость. Это не плохо. Это просто не то, что сейчас нужно проекту.

Начальник делает паузу. Смотрит на фотографию на столе -там улыбаются люди, которых Пётр никогда не видел. Начальник смотрит на них, будто ищет опору. Потом снова на Петра.

-Я искал варианты. Думал про отдельный трек задач, про куратора, про письменные инструкции. Даже ходил к HR, спрашивал, можно ли как-то адаптировать процесс. Но сроки сейчас такие, что любая задержка в коммуникации -это риск для всей цепочки.

Пётр молчит. Не спорит. Не может. Он просто сидит и ждёт. Потому что внутри уже знает. Он знал с того момента, как услышал своё полное имя. Знал, когда подходил к двери, считая шаги. Знал, когда садился на этот стул, на самый край.

Начальник сглатывает. Голос у него дрожит. Совсем чуть-чуть, но Пётр слышит. Он всегда слышит, когда голос меняется. Это как трещина в стекле.

-Я должен тебя уволить, Петя. Не потому, что ты слабый. Ты сильный, ты очень сильный специалист. Но сейчас мне нужно, чтобы работа шла без остановок. И я не могу рисковать проектом.

Тишина. Густая. Тяжёлая. Пётр чувствует её кожей, она давит на плечи, на грудь. Кондиционер гудит, ровно, монотонно. Из-за двери доносится смех -чей-то, чужой. Звонок телефона. Скрип стула. А внутри -пустота. Там, где должно быть что-то, -ничего. Только белый шум, который не убирают наушники, потому что он всегда с ним.

Где-то в коридоре хлопает дверь. Звук -резкий, как удар. Пётр вздрагивает -всем телом, плечи дёргаются, голова дёргается. Он заставляет себя сидеть ровно. Прямо. Не показывать. Но руки уже дрожат, спрятанные между коленями, сцепленные в замок, и пальцы белые, как бумага.

Он смотрит на стол. На приказ, который начальник положил перед собой. Белый лист. Чёрные буквы. Официально. Сухо. Пётр смотрит на него и не может прочитать. Он видит только пятна, линии, буквы, которые расплываются.

-А если я буду писать ответы заранее? -тихо, почти шёпотом. -Или... или пусть мне ставят задачи только утром, и я буду делать их весь день. Без внезапных.

Голос -чужой. Он сам его не узнаёт. Тонкий, детский, умоляющий. Он ненавидит этот голос. Но не может его остановить. Слова вылетают сами, как будто внутри кто-то другой, кто ещё надеется.

Начальник качает головой. Мягко. Спокойно. Но твёрдо.

-Если бы это работало, Петя, я бы прямо сейчас так и сделал. Но у нас не бывает «только утром». Бывает «прямо сейчас». А ты не можешь «прямо сейчас». И это не твоя вина.

Пётр опускает голову. Он не чувствует стыда -стыд слишком громкий, а сейчас тихо. Просто некуда смотреть. Взгляд блуждает по полу, по стыкам линолеума, по щели у плинтуса. Он смотрит на всё это и считает, механически, чтобы не упасть. Раз, два, три...

-Я дам тебе хорошие рекомендации, -продолжает начальник, и голос у него мягче, почти извиняющийся. -И помогу с поиском места, где ритм будет другим. Где ценят точность и не требуют быстрой импровизации. Тебе нужен другой формат, Петя. Не хуже, не лучше -другой.

Он протягивает лист. Кладёт на стол, ближе к Петру. Пётр видит бумагу. Смотрит на неё, не поднимая глаз. Она лежит на столе, как приговор. Но начальник кладёт её так, будто это не приказ. Будто извинение. Пётр знает, что это не извинение. Это конец.

-Прости. Мне правда жаль.

Пётр медленно протягивает руку. Пальцы берут лист. Они дрожат -он видит это. Смотрит на свои руки, которые держат бумагу, и не узнаёт их. Они чужие. Они трясутся. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы было видно -он не спокоен. Он просто держится. Он складывает

лист пополам. Аккуратно. Ровно. По линии. Так, как делает всё, когда мир становится слишком громким.

Он слышит, как начальник что-то говорит. Голос доносится издалека, как сквозь воду.

-Может... ты не думал сходить к специалисту? Я напишу номер. Валерий Павлович, очень хороший доктор. Правда, если надумаешь, позвони ему, ладно?

Пётр не поднимает глаз. Шепчет, почти беззвучно, одними губами:

-Я всё понял.

Он встаёт. Медленно, как будто поднимается со дна. Делает шаг к двери. Потом останавливается. Оборачивается на полшага -будто хочет что-то добавить. Что-то важное. Что-то, что объяснит всё. Что-то, что заставит начальника передумать. Но слов нет. Есть только шум. Гул. Он заполняет голову, как вода заполняет лёгкие. Он пытается найти слова, которые удержатся в этом шуме, -но их нет.

Он открывает дверь. Выходит. Закрывает за собой.

В коридоре шум. Люди. Голоса. Смех. Он идёт, не глядя по сторонам. В руках -лист бумаги, сложенный пополам. Он сжимает его, но не слишком сильно, чтобы не помять. Потому что порядок. Даже когда всё рушится -порядок остаётся. Это единственное, что он умеет.

Пётр идёт. Шаг за шагом. Ноги двигаются сами, механически. Он не смотрит по сторонам -только прямо перед собой. Но мир вокруг теряет чёткость. Края предметов расплываются, лица становятся пятнами, звуки -эхом. Он слышит собственное дыхание -прерывистое, слишком частое. И гул. Гул, который не даёт дышать.

Рука сжимает лист бумаги -сложенный пополам, аккуратный, ровный. Он чувствует его края, ощущает бумагу пальцами, и это единственное, что остаётся реальным. Всё остальное -туман. Он считает шаги. Раз, два, три... До своего стола -сорок семь шагов. Он знает, потому что считал раньше. Сейчас он считает снова, чтобы не упасть.

Сорок первый. Сорок второй. Кто-то проходит мимо, задевая плечом, -Пётр вздрагивает, но не останавливается. Сорок третий. Сорок четвёртый. Он почти дошёл.

Сорок седьмой. Он у стола.

Пётр стоит неподвижно. Смотрит на свои вещи. Всё на местах: ручка слева, линейка справа, блокнот ровно по краю. Всё как всегда. Всё по порядку. Но внутри -пустота. Он не знает, что делать. Он знает только одно: надо собрать вещи. Надо убрать их в сумку. По порядку. Сначала чехол для наушников. Он берёт его -твёрдый, с мягкой подкладкой -и кладёт в сумку. Потом линейку. Потом блокнот -тот, в котором он записывал только свои задачи, только понятное, только то, что можно объяснить цифрами и датами. Всё по порядку. Если делать по порядку, мир не рассыпается. Но он уже рассыпался. Пётр продолжает собирать.

Рядом кто-то останавливается. Пётр не поднимает глаз, пока не заканчивает -кладёт последнюю вещь, закрывает сумку. Только тогда поднимает голову.

Коллега. Молодой, с растерянным лицом. Он смотрит на сумку, на пустой стол, на Петра. И спрашивает, неуверенно, будто уже знает ответ:

-Петя? Ты куда?

Пётр смотрит на него. Прямо. Тяжело. Взгляд -как у человека, который не понимает, где находится и как здесь оказался. Он открывает рот, и слова выходят ровные, без эмоций, как будто он читает с листа:

-Меня уволили. Потому что я не мог ответить вовремя.

Коллега теряется. Моргает, открывает рот, закрывает. Не знает, что сказать. Его лицо -испуганное, виноватое -мелькает перед глазами Петра, но Пётр не видит. Он смотрит сквозь.

-Слушай... Прости. Мы не... мы не хотели, чтобы так вышло.

Пётр кивает. Одно движение головы -короткое, безжизненное. Не потому что ему легче, а потому что кивок -это понятный жест. Он не требует слов, не требует объяснений. Пётр делает этот жест, потому что не знает, что ещё можно сделать.

Он закрывает ящик стола. Тот щёлкает -громко, резко, как выстрел. В тишине, которая вдруг повисла вокруг, этот звук кажется оглушительным. Пётр вздрагивает. Плечи дёргаются. Он чувствует, как сердце пропускает удар.

Он берёт сумку. Перекидывает через плечо. И идёт. Не оглядываясь.

Коридор. Шум. Люди. Гул. Пётр идёт к выходу, и каждый шаг -как преодоление. Сумка тяжелая на плече, в руке -лист бумаги, сложенный пополам. Он не знает, куда идёт. Просто идёт. Выходит из здания. Дверь открывается -и город накрывает его с головой.

Пётр останавливается на ступеньках. Смотрит на серое небо. Делает вдох -глубокий, шумный. Воздух пахнет бензином и мокрым асфальтом. Гудит. Везде гудит. В голове -гул, который не стихает.

Он достаёт наушники из кармана. Трясушимися пальцами надевает их. Включает белый шум. И мир становится чуть тише. Чуть выносимее.

Он идёт. Шаг за шагом. Не знает куда. Просто ставит одну ногу перед другой.

Ритм возвращается. Шаг -раз, шаг -два. Он смотрит на асфальт, на стыки плитки, на трещины. Считает. Раз, два, три. Всё по порядку.

День заканчивается, кажется, заканчивается.

Глава 2

МАМА

Она просыпается - и ещё до того, как открывает глаза, сердце уже ёкает где-то под горлом, будто кто-то невидимый и жестокий сжал его в кулаке и держит, не отпускает. Ну вот опять. Опять это утро, опять эта серая муть за окном, опять эта пустота в доме, которая с каждым днём становится всё плотнее, всё тяжелее, будто воздух превратился в мокрую вату, и дышать нельзя, а надо. Шесть утра, а в груди уже ком, тугой, горячий, как уголёк, который не гаснет, - она носит его в себе годами, привыкла, но привыкнуть невозможно. Лежит, смотрит в потолок - там трещина, она знает каждую её развилку, каждую веточку, как карту своей жизни, - и думает: как он там? Как он сейчас, за стеной, в своей комнате, где всегда полумрак и тишина, которую он сам создаёт? Сейчас встанет, наденет свои наушники - эти чёрные, нелюдимые штуки, которые отгораживают его от всего мира, от неё, от людей, от жизни, - выйдет за дверь и даже не глянет на неё. Ни разу. Ни одним взглядом. Будто её нет. Будто она - часть мебели, часть этого дома, который он знает наизусть. Ну и ладно, она и не ждёт. Не ждёт уже много лет. Он весь в себе, она привыкла. Только вот привыкнуть нельзя, сынок. Нельзя привыкнуть к тому, что твой ребёнок, твоя кровь, твоё продолжение живёт в каком-то своём мире, в своём белом шуме, в своих трещинах на асфальте, в своих ста сорока двух шагах до угла, а ты стоишь рядом - одна, с чашкой остывшего чая, с улыбкой, которая трещит по швам, - и молчишь, чтобы не спугнуть. Молчишь, потому что если скажешь лишнее, он уйдёт ещё дальше, закроется на все замки, и ты уже не достучишься. А достучаться надо. Надо каждый день, каждое утро, каждую минуту, пока он ещё здесь, пока он ещё дышит в одной с тобой квартире.

Она встаёт тихо-тихо, почти на цыпочках, стараясь не скрипнуть половицей, не звякнуть ручкой двери, - она научилась двигаться бесшумно, как тень, как призрак, который боится потревожить живущего. Идёт на кухню, ставит чайник - тот самый, старый, с облупившейся эмалью, который помнит его детство, его первые шаги, его первые «мама», которые она до сих пор слышит в голове, когда не может уснуть. Руки трясутся - мелко, противно, предательски, - она держит чашку крепко, до побелевших костяшек, до боли в пальцах, потому что если не держать, если хоть на секунду ослабить хватку, она упадёт, разобьётся вдребезги, и он услышит. А ему нельзя слышать, как у мамы руки дрожат. Он сам дрожит, её Петенька, её мальчик, который когда-то бегал к ней в кровать от ночных кошмаров, а теперь бежит от всего мира в свои наушники. Весь день дрожит - не видимо, не громко, а внутри, где-то глубоко, там, где никто не видит, но она знает. Она всегда знает. Мать же. Она чувствует каждую его дрожь за версту, за стену, за несколько кварталов, - у неё внутри натянута струна между их сердцами, и когда ему плохо, она звонит у неё в груди, как колокол на пожаре. И она молчит. Улыбается. Варит суп. Ждёт. И ручки всё трясутся, трясутся, трясутся, а она смотрит на них и не узнаёт - старые, в морщинах, с выпуклыми венами, но такие же дрожащие, как у него. Как у её сына. И в этом они похожи. В этом они - одно целое, две половинки одного тревожного, больного, любящего сердца, которое бьётся в такт, даже когда они не рядом. Даже когда он не смотрит на неё. Даже когда она одна на этой кухне, в этом доме, в этой жизни, которая стала слишком тихой, чтобы быть настоящей.

Дом пустой. Такой пустой, что стены, кажется, дышат ею одной, и этот выдох возвращается обратно, холодный и ненужный. Она наливает чай - он уже остыл, она забыла про него, пока стояла и смотрела в одну точку, - невкусный, горьковатый, но она пьёт, потому что надо. Надо, чтобы тело работало, чтобы руки двигались, чтобы не остановиться и не рухнуть прямо здесь, посреди кухни. Потому что внутри ничего не хочет - ни пить, ни есть, ни жить, по правде говоря, - но она заставляет себя, глоток за глотком, как лекарство, как обязанность, как обещание, которое она дала себе много лет назад: держаться. Смотрит в окно. За стеклом - серость,

серая, беспросветная, липкая, как эта утренняя тоска, которая всегда приходит с рассветом. Улица мокрая, вчера был дождь, и теперь весь этот мир - сплошное отражение, расплывчатое и грязное. Она видит асфальт. Не тот, по которому сейчас идёт её сын, - но ведь он такой же, везде одинаковый, с трещинами, с пятнами от машинного масла, с разводами от дождя, которые никто не замечает, кроме таких, как он. Она знает: он смотрит на него, когда идёт. Всегда. Не на небо, где облака плывут, не на дома, где люди просыпаются, не на лица, которые могли бы ему улыбнуться, - он смотрит только вниз. Как будто боится поднять голову, как будто там, наверху, слишком много света, слишком много жизни, которая ему не по силам. Или как будто этот асфальт под ногами - единственное, что не врёт. Единственное, что остаётся постоянным, предсказуемым, своим. И она смотрит на этот асфальт через окно и чувствует, как у неё внутри всё сжимается, потому что она знает - он идёт по такому же, и каждый его шаг отдаётся у неё в груди, как глухой удар, как отсчёт, который нельзя остановить.

Она выходит в коридор. И видит его куртку - висит на стуле с вечера, так и осталась там, где он её бросил, на том самом месте, где всегда, потому что у него свой порядок, свой ритуал, и она никогда не смеет его нарушить. Она подходит, поправляет рукав - просто так, машинально, - и вдруг проводит рукой по ткани, медленно, нежно, как будто гладит его, как будто он всё ещё внутри этой куртки, как будто она чувствует тепло его тела сквозь плотную материю. Она закрывает глаза на секунду и шепчет, одними губами, почти без звука, почти в пустоту: «Петя...» И это слово выходит не как имя, а как выдох, как стон, как молитва, которую она не умеет произносить иначе. Она не знает, что хочет сказать этим словом - просто чтобы оно было, чтобы он был, чтобы этот звук разорвал тишину и напомнил ей, что он ещё существует, ещё дышит, ещё где-то там, за этой дверью, за этим городом, в этом огромном шумном мире, который не понимает его. Голос у неё чужой, тонкий, почти детский, и она пугается сама себя, открывает глаза, смотрит на куртку, на пустой коридор, и понимает, что она одна. Совсем одна. И это «Петя» осталось висеть в воздухе, как вопрос без ответа.

Она берёт сумку. Надо идти в магазин, надо что-то делать, надо двигаться, потому что если остановиться, всё рухнет. Ноги сами ведут её - это не выбирается, это старая привычка, которая спасает от мыслей, от этой тягучей, липкой тишины, которая обволакивает её с головой. Она идёт медленно, специально медленно, чтобы продлить это время, чтобы не оказаться там, где нужно говорить с людьми, улыбаться, отвечать на вопросы. Под ноги не смотрит - не может, потому что там тот же асфальт, те же трещины, тот же сырой, холодный мир, который напоминает ей о нём. Она смотрит по сторонам, на соседей, на собак, на детей, которые бегут в школу, - на жизнь, которая течёт мимо неё, быстрая, звонкая, чужая. И она улыбается им. Улыбается всем, потому что умеет, потому что всегда умела, потому что эта улыбка стала её второй кожей - она надевает её, как маску, как броню, как защиту от вопросов, от жалости, от неловких взглядов. «Как у вас дела?» - спрашивают её. «Нормально», - отвечает она, и голос у неё ровный, спокойный, такой же, как у Петра, когда он говорит ей, что всё хорошо. Только она знает разницу. Он говорит «всё хорошо» - значит, всё на своих местах, всё по порядку, всё под контролем. А она говорит «нормально» - значит, она ещё дышит, ещё стоит, ещё не упала. И это разные вещи. Совсем разные. И никто, никто не видит, как внутри у неё всё кипит, как сердце колотится где-то в горле, как она сжимает ручку сумки так, что ногти впиваются в ладонь, только чтобы не закричать. Но она улыбается. Потому что надо. Потому что если она перестанет улыбаться, мир заметит, и тогда - всё. Тогда он тоже узнает, как ей тяжело. А ему нельзя. Ни за что.

В магазине она выбирает продукты. Долго. Так долго, что продавщицы уже коснутся на неё, но ей всё равно - она не торопится, она не может торопиться, потому что если ускориться, мысли догонят, и тогда всё, тогда не удержать. Она смотрит на упаковки, перебирает их, читает состав, хотя знает всё наизусть, но это её ритуал, её тихая передышка, её способ не думать. Если долго выбирать, можно просто делать - водить пальцами по картонкам, щупать плёнку,

переставлять баночки. И в этом движении есть что-то успокаивающее, почти медитативное, как будто мир сужается до размеров полки и в нём нет места тревоге. Она берёт творог - он любит творог. Всегда любил, с самого детства, когда она кормила его с ложечки и он открывал рот, доверчивый и чистый. Даже потом, когда уже не мог есть, когда текстура казалась ему неправильной, он всё равно хотел, она видела это по глазам, - он хотел, но не мог. Она помнит те дни, когда он отодвигал тарелку, и молчал, и смотрел в одну точку, а она стояла рядом и не знала, что делать, как помочь, куда бежать. Она делала кашу - он не ел. Потом суп - он не ел. Потом снова творог, уже другой, протёртый, жидкий, - и он пробовал, но лицо у него становилось таким, будто он ест не еду, а стекло. И она смотрела на его лицо, на его руки, которые дрожали, и внутри у неё всё сжималось, сжималось до боли, до спазма, до того, что дышать становилось трудно. Но она улыбалась. Всегда улыбалась. «Ничего, сынок, не хочешь - не ешь», - говорила она, и голос у неё был лёгкий, как пух, как будто ничего не случилось, как будто это просто каприз, а не война, которую он ведёт с собственным телом. А потом, когда он уходил в свою комнату и закрывал дверь, она слышала, как он включает свой белый шум - тот самый, который она ненавидела всеми фибрами души, потому что он означал, что мир слишком громкий для её сына, слишком жестокий, слишком быстрый, и единственное спасение для него - этот ровный, пустой, бесконечный гул, который забивает всё остальное. Она ненавидела этот шум, но молчала, потому что он был нужен ему. И она знала: если убрать этот шум, он останется один на один с миром, который его ломает.

Она возвращается домой. Разбирает пакеты. Раскладывает продукты по своим местам - всё по порядку, как он любит: крупы слева, консервы справа, хлеб всегда на верхней полке, ровно посередине, чтобы не съезжал. Она делает это механически, почти во сне, как Петя печатает свои чертежи - быстро, точно, без участия сознания, потому что тело само помнит, куда что класть, и не надо думать. И пока руки заняты, она позволяет себе думать о нём. О том, как он сейчас там, на работе, сидит за своим столом, окружённый своими вещами, которые никогда не меняют положения: линейка, ручка, блокнот, чертёж на экране. Она никогда не видела его работу - он не показывал, да и она не просила, потому что знала: это его мир, его убежище, его тихая гавань, куда ей не войти. Но она знает, что он делает. Он рассказывал когда-то, давно, когда ещё был маленьким и мог рассказывать, когда слова не застревают у него в горле. «Это детали, мам, - говорил он, и глаза у него загорались, как у мальчишки, который нашёл клад. - Они подчиняются правилам. Если чертёж правильный - деталь соберётся. Если неправильный - не соберётся. Всё просто». Она кивала, не понимая до конца, но внутри, в самой глубине, она понимала главное: он любит их, эти детали, эти линии, эти цифры, потому что они не обманывают. Они не подходят сзади и не трогают за плечо. Они не говорят «почему ты угрюмый», не смеются непонятно чему, не требуют быстрых ответов, не давят на него своим гомоном и суетой. Они просто есть - ровные, правильные, послушные. И она радовалась за него, что у него есть это, что он нашёл хоть что-то, что не причиняет ему боли. Но иногда, когда она думала о том, что он проводит с ними целые дни, а с людьми - только по необходимости, у неё внутри что-то ныло, тихо и глухо, как зуб.

Иногда она звонит ему в обед. Не каждый день, чтобы не раздражать, чтобы не казаться навязчивой, но иногда - когда особенно тоскливо, когда сердце не на месте, когда она чувствует, что ему тяжело, даже не зная, почему. Он не всегда берёт трубку - иногда она слышит только гудки, и они отдаются в ней болью. Иногда он берёт, но молчит - слышно только его дыхание, ровное, спокойное, но она знает, что это не спокойствие, это маска, такая же, как её улыбка. Она говорит: «Ты как, сынок?» - и голос у неё бодрый, весёлый, будто она на празднике. Он отвечает: «Нормально, мам, я работаю». Она спрашивает: «Не забыл поесть?» Он говорит: «Да, мам». И она знает - не поел. Или поел, но не то, или поел, но не чувствует вкуса, потому что его мысли заняты чем-то другим, потому что его голова гудит от цифр и линий, и он забывает, что надо жевать и глотать. Она знает, что он врёт - тихо, вежливо, чтобы она не волновалась.

Но она всё равно волнуется. Потому что она мать. Потому что каждая его ложь отдаётся в ней острой иглой, и она знает, что он врёт ей не со зла, а из любви, но от этого не легче. И когда он вешает трубку, она смотрит на телефон, на погасший экран, и губы у неё сжимаются, и в груди становится тесно, как будто кто-то сел на неё сверху. Она не плачет. Не сейчас. Она ждёт. Просто ждёт, когда он вернётся, когда она увидит его живым, когда она сможет притвориться, что всё хорошо.

Час. Два. Она смотрит в окно. Там - серое небо, низкое, тяжёлое, как крышка гроба, и облака плывут по нему медленно, безжизненно, как будто им тоже некуда спешить. Двор - пустой, только мокрый асфальт, да голые ветки деревьев, которые качаются от ветра. Ни души. Она делает что-то по дому - перебирает вещи, которых уже не жалко, вытирает пыль, которую никто не видит, моет посуду, которая уже чистая. Руки заняты, и это хорошо - когда они заняты, они не дрожат. Когда они свободны, когда она просто сидит и смотрит в одну точку, - они начинают дрожать. Мелко, противно, как у Петра. Она заметила это недавно, когда сидела с чашкой и смотрела на свою руку - она тряслась. Совсем как у него, теми же мелкими, нервными толчками. «Видимо, это передалось, - подумала она тогда, - или просто мы слишком долго живём одной жизнью, одной болью, одним ожиданием». И ей стало страшно, потому что если она начнёт дрожать как он, кто будет держать его? Кто будет улыбаться, когда он смотрит? Кто будет говорить «всё хорошо»?

В обед она не ест. Не хочется. Просто пьёт воду - холодную, безвкусную, чтобы хоть что-то попало внутрь. Она ждёт. Чего? Не знает. Может, его шагов на лестнице? Но он никогда не приходит домой днём, никогда, это не его ритм, не его порядок. Он всегда в офисе - там его стол, его чертежи, его линейка, его тишина в наушниках. Два часа, четыре часа, шесть. Она знает его рабочий день: с девяти до шести. Иногда дольше, если что-то горит. Иногда меньше, если он не выдерживает. Он не говорит ей, когда уходит, - он просто исчезает за дверью, а вечером она слышит его шаги в коридоре, медленные, усталые, тяжёлые, как будто он нёс на плечах весь этот гулкий, шумный мир. Она слышит, как он кладёт ключи на полку - на то самое место, где они всегда лежат, ровно, аккуратно. И тогда у неё внутри отпускает - он вернулся, он жив, он снова дома. И она выдыхает, сама не замечая, что задерживала дыхание весь день.

Но сегодня... сегодня она чувствует что-то другое. Беспокойство. Оно не приходит сразу, оно нарастает понемногу, как белый шум в голове, который не выключается, который становится всё громче и громче. Она смотрит на часы - три, четыре, пять. За окном солнце садится за облака, и становится ещё темнее, ещё тоскливее. Она сидит на кухне, обхватив кружку с давно остывшим чаем, и смотрит в одну точку - туда, где стык обоев, где начинается трещина на стене. Она смотрит на неё и не видит. Она не знает, почему волнуется - ничего не случилось, он на работе, всё как всегда, - но она волнуется, потому что нутром чувствует: что-то не так. Что-то сдвинулось, что-то сломалось в этом привычном, отлаженном мире, который она держала в руках.

Потом - шаги на лестнице. Быстрые, чужие, не его. Сердце сжимается, как пружина. Она смотрит на дверь, не дышит, ждёт. Шаги стихают. Тишина. Потом - снова, мимо. Не к ним. Она выдыхает, но внутри что-то остаётся, что-то острое, как иголка, которая засела под сердцем и не даёт дышать полной грудью.

Шесть часов. Семь. Он не звонит. Она звонит сама - один раз, второй. Трубка молчит, только короткие гудки, равнодушные, как удары метронома. На четвёртый раз - занято. Потом снова занято. Она кладёт телефон, смотрит на экран - там нет его имени, нет пропущенных вызовов, ничего. Она не знает, что делать. Только одно: ждать. Ждать, потому что больше нечем заполнить эту липкую, тягучую тишину, которая обволакивает её с головой.

Он появляется в половине восьмого. Она слышит его шаги - медленные, не такие, как всегда, тяжелее, глуше, будто он тащит за собой что-то невидимое, что тянет его вниз. Она слышит, как он открывает дверь, как входит, как закрывает её за собой. И вдруг - звук, которого

не должно быть: ключи. Они падают на тумбочку. Не на полку. Не на своё место. Сердце падает вместе с ними, и она уже знает, ещё до того, как видит его лицо.

Она выходит в коридор. И видит - он стоит, не снимает куртку, плечи опущены, голова вниз. В руках - сложенный пополам лист бумаги, белый, аккуратный, как будто он боится его помять. Он держит его так, будто это что-то бесконечно важное, будто это его приговор, и он не знает, куда его деть. Она молчит. Он поднимает глаза - чуть-чуть, не на неё, а куда-то в сторону, на её плечо, на стену за её спиной, но не в глаза.

- Мам, меня уволили, - говорит он. И голос у него ровный, как всегда, как будто он говорит о погоде или о том, что на завтра дождь. - Потому что я не мог отвечать вовремя.

Она смотрит на него, и внутри у неё - крик. Не звук, а что-то огромное, тёмное, что рвётся наружу, ломает рёбра, царапает горло. Там, внутри, всё рушится - стены, полы, потолки, весь этот дом, который она строила годами, чтобы ему было где спрятаться. Но снаружи она - маска. Она знает: нельзя сейчас, нельзя показывать, потому что он испугается или замкнётся, или уйдёт в себя ещё дальше, туда, откуда не достать. Она подходит к нему, медленно, как будто идёт по тонкому льду. Берёт его за руку - ту самую, в которой белый лист, - и сжимает его пальцы. Они холодные, как лёд, и она чувствует, как он вздрагивает от её прикосновения. Но не убирает руки, не отворачивается, стоит, позволив ей держать себя, и это - всё, что ей нужно.

- Ничего, сынок, - говорит она, и голос её не дрожит, потому что она не позволяет. Она держит его, как держит себя, - зубами, ногтями, последними силами. - Всё будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем.

Он кивает - коротко, как всегда. Идёт в свою комнату. Закрывает дверь. Она остаётся одна в коридоре, смотрит на эту закрытую дверь, и слышит, как внутри что-то падает - глухо, негромко, но отчётливо. Может, он уронил что-то, может, сам упал, может, просто наушники выскользнули из рук. Она не знает. Она стоит, считая до десяти, чтобы не разрыдаться прямо здесь, на пороге, чтобы не закричать, не забиться в истерику, потому что он услышит, и тогда - всё.

Она идёт на кухню. Садится за стол. И только тогда - когда он не видит, когда дверь за ним закрыта - даёт волю. Сначала просто дышит - глубоко, часто, как рыба, выброшенная на берег. Потом - слёзы. Они приходят не сразу, они накапливаются минутами, часами, годами, а потом прорываются, как вода через плотину, и уже не остановить. Она плачет тихо, закрыв лицо руками, потому что нельзя громко, нельзя, чтобы он слышал. Всё тело дрожит, плечи вздрагивают, она не может остановиться, не может взять себя в руки, потому что руки тоже дрожат - мелко, противно, как у него. Она не издаёт ни звука - только слёзы, только дрожь, только воздух, который выходит с болью, как будто она выдыхает не воздух, а осколки.

«Почему, - думает она, и мысль эта бьётся в голове, как птица в клетке, - почему он? Он же старался. Он всегда старался, всегда делал всё, что мог, и даже больше, даже то, что не мог. Он не хотел быть таким, не хотел быть неудобным, не хотел быть лишним. Он не виноват, что мир устроен по-другому, что ему нужно время, чтобы переварить вопрос, чтобы найти слова, чтобы собраться с мыслями. Он просто не умеет как все - быстро, громко, не задумываясь. Он умеет точно, медленно, по порядку. И его уволили за это. За то, что он не такой, за то, что он не кричит, не смеётся, не отвечает на сообщения, за то, что ему нужно больше тишины, чем другим». Она плачет, не вытирая слёз, и смотрит на свои руки - они дрожат, как у него, те же мелкие, нервные толчки, та же беспомощность. И она не знает, что делать, только сидит и смотрит на часы - девять, десять. Слышит шаги за стеной, как он открывает шкаф, как кладёт что-то, как тихо, почти беззвучно, ходит по комнате. Она не идёт к нему, потому что знает: сейчас нельзя, ему нужно время, ему нужно, чтобы она была просто здесь, просто рядом, просто молчала.

Но потом она встаёт. Идёт к его двери. Стучит - тихо, два раза, как всегда.

- Сынок, ты хочешь поесть? Я согрею суп.

Тишина. Такая плотная, что можно резать ножом. Потом его голос - глухой, уставший:

- Нет, мам. Спасибо.

Она стоит у двери. Дышит. И шепчет, почти беззвучно, чтобы он не слышал, чтобы он не понял, как ей больно:

- Петя... я тебя люблю. Я с тобой. Всегда.

И идёт на кухню. Берёт кружку, наливает воду, смотрит в окно. За ним - ночь, тёмная, мокрая, как этот день, как её душа. Она знает: завтра будет новый день, новый асфальт, новый шум, новые трещины, и она будет идти рядом с ним, потому что больше некому, потому что она - мать. Она стоит и не плачет. Сейчас не плачет. Она просто держит себя, как держала всегда, как будет держать завтра, послезавтра, всегда, пока он не научится, или пока она не перестанет чувствовать. Но она не перестанет, потому что он - её сын, и он - всё, что у неё есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.